

ТОЛСТОЙ

ДНЕВНИК

Мыслитель Толстой, а не Толстой-человек вел эти записи, – так кажется на первый, поверхностный взгляд. В них крайне мало биографического и совсем ничего подходящего для анекдотов из жизни великого человека, и поначалу думаешь, что это просто заметки, отражающие его размышления, его старания постичь мир. Но если рассматривать их лишь как то, что мы привычно именуем «мыслями», многие из этих заметок вызовут разочарование, ибо они очень неуверенны, осторожны, приблизительны и форма их далека от совершенства. Однако «мысли» Толстого – это не мысли ученого или литератора, и в данном случае вообще не идет речь о сугубо формальной задаче – интеллектуального постижения и максимально точного описания тех или иных фрагментов мира. Толстой борется за саму истину, это борьба всей его жизни, тяжелейшая, образцовая, достойная глубокого уважения борьба не за познание жизни, а за жизнь по истине, жизнь по Богу. Оттого и выражения, которые находит себе мысль, порой мучительно ищущие, блуждающие, оттого и сам Толстой в многочисленных маргиналиях постоянно сетует, что пишет неясно, не попадая в цель, – эта цель есть сама жизнь. Поэтому его

мысли – по видимости чисто абстрактного свойства – целые серии мыслей из области феноменологии и теории познания, предстают нам только как пылающие, страстные, мятежные попытки придать наглядную форму результатам абстрактного познания, воплотить истину в мудрости, воззрения – в жизни. Часто эти попытки прекращаются, уступая печальному смирению, и он, стареющий человек, сокрушенно отказывается от дальнейших стараний понять мир, но не с тем, чтобы удалиться на покой, а чтобы еще более неуклонно, еще более страстно пробивать путь действию, путь деятельной, изо дня в день борющейся, терпящей поражения, но вновь восстающей из праха любви. Итог всей мудрости – любовь, и смысл жизни – любовь, еще нигде это не было высказано с такой жизненной силой, глубоко выстраданной и все же торжествующей, с такой захватывающей страстью и с такой высокой мудростью, как в этом удивительном дневнике.

1923

ТОЛСТОЙ И РОССИЯ

Давно миновали те времена, когда наше национальное чувство, растревоженное внезапной угрозой, побуждало нас смотреть на все чужое с неприязнью и враждебностью. В те

времена у нас даже высказывали сомнения, позволительно ли нам играть пьесы англичанина Шекспира, а некоторые излишне усердные господа опорочили как слабость, которую надлежит немедленно преодолеть, лучшую из лучших черт Германии – уважение ко всем ценностям и достижениям других народов мира. Всячески поносили себялюбие Англии, якобы закосневшей в неприкрытом эгоизме, а сами меж тем подталкивали немецкий дух по тому же пути холодного себялюбия и в конечном-то счете бесплодной ограниченности. Эти времена уже в прошлом, сегодня у нас уже не ропщут, если кто-то воздает хвалу Флоберу или Гоголю.

И давно уже мы снова смогли заговорить о том, что после этой войны Германии нельзя стать чем-то вроде острова, что она должна возобновить сотрудничество с соседями, находя общие цели, применяя общие методы, почитая общих богов. С недавних пор даже о Европе говорят больше чем когда-либо, и, по-моему, прекраснейшим достижением нашего времени, стоящим выше всех национальных различий, должно стать укрепление общеевропейского сознания, уважение к общеевропейскому духу. Но многим Европа видится в таких границах, которые вызывают озабоченное раздумье: иные из наших лучших умов (например, Шелер в великолепной, пылающей книге «Гений войны») целиком и полностью исключают

из своей Европы Россию. Вообще европейская мысль в эти беспокойные дни полна агрессии и, по-видимому, устремлена не к объединению, а к разделению Европы. Между тем идея будущего духовного европейского единения могла бы стать первым предварительным шагом к объединению всего человечества, но, как выражение любого космополитизма, эту мысль сегодня решительно отвергают, считая, что ее место в царстве поэтических грез. С этим я согласен, хотя о поэтических грезах я очень высокого мнения, да и вовсе не считаю идею объединения всего человечества красивой мечтой нескольких великих идеалистов – Гете, Гердера, Шиллера... Я считаю ее душевным переживанием, то есть самой реальной вещью на свете. Ведь на этой идее зиждутся наше религиозное чувство и мышление. Всякая достигшая высокого уровня и жизнеспособная религия, любое творческое, художественное мировоззрение основаны на принципиальной убежденности в высоком достоинстве и духовном предназначении человека, человека как такового.

Мудрость китайца Лао-цзы и мудрость Иисуса или мудрость индийской Бхагавадгиты явно свидетельствуют об общности духовных основ всех без исключения народов, и это же относится к искусству всех времен и всех стран. Душа человека, священная, способная любить, способная страдать, жаждущая спасения, открывает нам свой лик во всех помыс-

лах и во всех деяниях любви, – у Платона и Толстого, у Будды и св. Августина, у Гете и в сказках «Тысячи и одной ночи». Не следует отсюда заключать, будто необходимо объединить христианство и даосизм, философию Платона и буддизм, или предполагать, что, создав сплав духовных миров, разделенных временем, расовыми, климатическими, историческими границами, можно получить идеальную философию. Христианин – это христианин, а китаец – китаец, пусть каждый стоит за свой способ бытия и мышления. Признавать, что все мы – лишь отдельные частицы единого целого, отнюдь не означает, что можно счесть излишним и упразднить хотя бы *один определенный* путь, *один определенный* кружной путь, хотя бы один-единственный поступок или страдание на свете. Ведь осознание своей детерминированности не дает мне свободы! Но оно, конечно, приведет меня к скромности, терпению, добродушию, так как, осознав, что детерминировано мое бытие, я должен предполагать, что детерминировано и любое другое живое существо, считаться с этим фактом и принимать его как должное. И точно так же понимание, что, независимо от того, о каком континенте идет речь, человеческая душа священна и обладает предназначением, есть служение духу, который нам надлежит считать более благородным и более широким, чем верность любой присяге и лю-

бому догмату. Это дух благоговения и любви. И только перед ним открыт вечный путь совершенствования и чистого стремления.

Если же мы исключим из наших планов на будущее Россию и русскую сущность, не найдя в них того, что мы называем европейским, мы отрежем себе доступ к глубокому и обильному роднику. В жизни европейского духа было два грандиозных этапа – античность и христианство. Наше Средневековье было временем победоносной борьбы христианства с античностью, эпоха Ренессанса стала новым триумфом античности, и она же была временем рождения нашего окончательно выделившегося среди всех других европейского мышления. Россия осталась в стороне от этой борьбы, что отделяет ее от нас и обуславливает наши представления о России как о стране средневековой. Однако не так давно именно из России хлынул к нам столь мощный поток душевности, христианской любви, какой она была в первые века, по-детски непреклонной жажды спасения, что наша европейская литература вдруг разом оказалась и узкой, и мелкой в сравнении с этой пучиной душевных порывов и глубокой непосредственности.

Лев Толстой соединяет в своем существе две характерные для русского человека черты: русский гений, наивную интуитивную русскость и осознанную, доктринерскую, антиевропейскую русскость – и оба эти начала в нем

воплотились предельно полно. Мы любим и почитаем его русскую душу, и мы критикуем, даже ненавидим присущее ему современное русское доктринерство, безмерную пристрастность в оценках, дикий фанатизм, суеверную приверженность догмам, которые свойственны русскому человеку, оторвавшемуся от своих корней и обретшему самосознание. У нас все испытывают чистый глубокий трепет перед художником Толстым, благоговение перед великим гением Толстого, и все с удивлением, смущенно, и в конце концов, с чувством неприязни и внутреннего протеста, вертят в руках его догматические программные сочинения.

1915